

**В** ОСОБНЯК на Малой Никитской Горький вошел со стороны Спиридоновки, миновал прихожую, спустился в вестибюль парадного подъезда, бережно поставил свою желтую палку в угол гардеробного шкафа, не спеша повесил легкое пальто, чутко прислушиваясь ко всему, что происходит за его спиной. Внутренним оком он отчетливее, чем наяву, видел, как по широкой мраморной лестнице скатываются ему навстречу Марфа и Дарьюшка. Но было поразительно тихо. Старый человек с недоумением и даже обидой глянул через плечо, но ничего не увидел, кроме Крюкова и Екатерины Павловны, заставших в прихожей. Алексей Максимович резко повернулся, легко преодолел пологие ступени, разделявшие вестибюль-гардеробную от проходного аванзала, и направился к просвету мраморной лестницы, ведущей на второй этаж, где жила семья Максима.

— К детям нельзя. Они нездоровы, — раздался тихий, но твердый голос Екатерины Павловны.

Алексей Максимович словно споткнулся, застыл на месте, сник, сжался и через какую-то паузу, показавшуюся утомительно длинной, промолвил:

— В Горки — не едем!..

Крюков и Екатерина Павловна недоуменно переглянулись, а Алексей Максимович, ни на кого не глядя и не дожидаясь ответа, ушел в свой кабинет и закрыл за собою дверь. Последнее означало, что его без особой нужды не следует беспокоить, и это правило соблюдалось. Исключение делалось только для внуков да их отца Максима, когда он был жив. Максим не злоупотреблял своей привилегией, да и внуки каким-то образом переняли у отца эту деликатность.

Нашел себя Алексей Максимович поздним вечером, когда уже было почти темно, возле письменного стола в кресле, в котором обычно сидят посетители, впрочем, не такие частые за последние полтора года. На столе среди обычных вещей стоял поднос, накрытый салфеткой. Писатель не сразу понял предназначение постороннего предмета, пока не сообразил, что это какая-то еда вместо обеда и ужина, которые он проспал. Должно быть, это забота Липочки, но Олимпиада Дмитриевна должна бы знать, что он терпеть не может на своем рабочем столе ничего лишнего, тем более подноса с едой. Для него письменный стол — это алтарь, своего рода жертвенник, где царит бытие, а не быт, и он должен содержаться в чистоте и опрятности.

Конечно, минувшие сутки — особенные. Переезд из Крыма в Москву сломал устоявшийся порядок и даже его, старого человека, выбил из колеи и толкнул на неожиданное решение отказаться от немедленного переезда на дачу, в Горки, где готовились, ждали, и остаться там, где его не только не ждут, но и считают его пребывание нежелательным, опасным для его же здоровья из-за внуков, которые гриппуют. Все это трогательно, но очень уж осточертело, когда за него, без него, хотя и ради него, рассчитывают каждый его шаг, лишают воли, держат на привязи, толкают в рот готовенькое, точно гусю, предназначенному на откорм. А того не возьмут в толк, что одинокая его душа истосковалась по девчонкам, единственному, что еще связывает его кровно, напрямую с действительностью, с жизнью. Ему бы, может быть, хватило лишь того, чтобы взглянуть на них, не переступая порога детской комнаты. Из полуприкрытых глаз писателя, все еще сидевшего в кресле возле письменного стола, скатилась слезинка и стала плутать по шершавой, изрытой морщинами щеке. Вспомнились чьи-то слова, кажется, Розанова: «Я не плыву, меня несет», а его, Горького, — несут, иногда — везут или ведут.

Писатель заметил, что, когда он и его спутники, желая избавиться от любопытной привокальной толпы, торопливо усаживались в открытый американский лимузин (подарок вождя), людей интересовали не столько пассажиры, сколько их роскошный автомобиль. Это его немного задело. Но он серьезно встревожился, когда, выпутавшись из мешанины повозок, грузовиков, «козлов» с брезентовым верхом, лимузин вырвали на Малую Никитскую и на приличной скорости помчался к боком стоявшему особняку, который теперь называют «домом Горького». Алексею Максимовичу показалось, что слоновьи ноги массивного парадного крыльца, глыбой нависающей над тротуаром, вот-вот сдвинутся с места и шагнут им навстречу. Но все обошлось. «Линкольн», пугая и тесня прохожих, прошел мимо парадного, не без лихости свернул на Спиридоновку и притормозил у боковой калитки особняка.

Чтобы не привлекать к себе излишнего внимания, Алексей Максимович поспешнее, чем следовало и чем позволяли ему его собственные возможности, покинул машину. Забыв поблагодарить водителя и даже не взглянув в его сторону (за что до сих пор стыдно), Горький шагнул за калитку и помимо своей воли остановился. Дом, который не любил, который называл нелепым, был рад его приезду и не скрывал своей радости. Старому писателю показалось, и он готов был в этом побожиться, что у дома в знак приветствия дрогнули широкие, далеко выступающие вперед плоские бетонные карнизы, точно ресницы заволжской красавицы с рисунка Ковлевого.

Горький и раньше подолгу простаивал перед спиридоновским фасадом особняка, вслушивался в жесткие, ровные ритмы горизонтальных и вертикальных линий, всматривался в загадочную асимметрию окон, то узких, устремленных ввысь, то приземленных и необыкновенно широких, готовых поглотить весь белый свет. Но, кажется, он только теперь понял, что западная, спиридоновская сторона дома как бы смягчает, приглушает, уравнивает бесцеремонное вторжение особняка в традиционно-аристократический уклад Малой Спиридоновки и всего Скородома. В лицевом фасаде, особенно в лобовой его части, в крыльце, было что-то грубое, излишне плотское, тевтонское, тогда как западный фасад олицетворял собою возвышенное, духовное, жизнотворческое начало.

Это как-то примиряло особняк с скородомской традицией, делало его существование возможным и даже по-своему необходимым, превращало его в изюминку одного из самых прелестных и дорогих сердцу Горького уголков старой Москвы.

Алексей Максимович и в самом деле любил этот московский уголок, любил давно, еще с молодости, когда навещал тут Савву Морозова. Но только сейчас его осенило, что и это место, и этот нелепый дом и есть его настоящая духовная родина. Сделав для себя такое простое и неожиданное открытие, Горький ощутил вдруг необыкновенное облегчение, словно Одиссей, приставший после долгих странствий к своей Итаке. И когда через минуту-другую он входил в дом через западное крыльцо, то едва ли не впервые почувствовал себя не постояльцем, а хозяином.

Алексей Максимович встал с кресла, включил свет, переоделся в домашнее, побрился, как это он обычно делал накануне нового рабочего дня, что-то неохотно пожевал с подноса, выпил лимонный сок, с наслаждением закурил и принялся за правку рукописей для журнала «Колхозник». То были чья-то небольшая охотничья по-

*Лит. Россия. — 1998. — 10 апр. — с. 12-13*

# ОСОБНЯК



## НА НИКИТСКОЙ

### Из последних дней жизни М. Горького

весть и стихотворный рассказ колхозного сторожа, написанный Михаилом Исаковским. Рукописи оказались удачными и не особенно утомили.

Было уже за полночь, но спать не хотелось. Алексей Максимович, покашливая и не выпуская из рук сигары, прошелся по кабинету. Он знал, что у прежнего владельца особняка Степана Павловича Рябушинского здесь был мужской кабинет, но не совсем представлял себе обстановку этого кабинета и его предназначение, так как у хозяина тут же, за лестницей, находилась и рабочая комната. Зато обстановка его собственного кабинета — и стол, и кресло, и журнальный столик, и шкафчики с китайской и японской пластикой вплоть до копии Александра Корина «Мадонны Литта» Леонардо да Винчи и панорамы Неаполитанского залива Павла Корина вписались в интерьер комнаты на удивление органично. Кажется, им еще никогда и нигде не было так покойно и уютно. Даже грубый ящик с садовым инструментом, который Горький повсюду таскал за собой, чувствовал себя на широком мраморном подоконнике как дома.

По сути, у Горького никогда не было своего жилища, вечно он скитался по чужим углам и квартирам. В его родном Нижнем насчитывается, по подсчетам Хитровского, до сорока «горьковских мест». Впрочем, бездомностью русских писателей не удивишь, стоит лишь вспомнить Гоголя. Самый домовитый писатель — Лев Толстой, но и он в последние дни своей жизни покинул Ясную Поляну. После Октябрьской революции почти треть русских писателей оказалась в эмиграции, без отчего крова.

Корней Чуковский как-то сострил по поводу переименования Нижнего Новгорода в город Горький:

— Беда с русскими писателями: одного зовут Михаил Голодный, другого — Бедный, третьего — Приблудный — вот и называй города...

Но озадачило Алексея Максимовича другое. Русские писатели как бы кичились своей бездомностью и на всякие лады воспевали свою неприкаянность и неустроенность своих героев. И, кажется, всех усерднее этим занимался сам Максим Горький. Его Нил из пьесы «Мещане» с отвращением покидает дом своего приемного отца Василия Бессеменова, а родные дети старика только и ждут случая, чтобы сделать то же самое. В доме деда Каширина с нахлупленной низкой крышей и выпученными окнами Алеше Пешкову тесно, душно, тошно, темно и страшно. Туда, точно в яму, стекается вся грязь города, вскипает на чадном огне и, насыщенная враждой, злобой, снова изливается в город. Пешков-Горький бежит из дома, из города, из России, бегут его герои. Клим Самгин, этот бродяга-интеллигент, получает в наследство от умершей жены Варвары московский дом, но он и дня не может прожить в нем и возвращается в Петербург, где в общем-то у него нет ничего и никого.

Когда Алексею Максимовичу подарили особняк Рябушинского и дачу под Москвой, он чуть ли не до сегодняшнего дня всячески демонстрировал неприязнь к ни в чем не повинному дому, подчеркивал к месту и не к месту, что дом принадлежит не ему, а Моссовету, что он тут не хозяин. Зачем? Почему?

Алексей Максимовичу припомнилось, что однажды, приехав на Никитскую, Сталин затеял игру, выясняя, кто здесь хозяин — Горький или Крючков. Горький тогда как-

то вяло прореагировал на настырную попытку Сталина выяснить, кто хозяйничает в особняке Рябушинского, не принял игры, и, судя по всему, зря. Это была тема.

Конечно, сама постановка вопроса — Горький или Крючков — заключала в себе оскорбительный для писателя смысл. Но это только один срез проблемы. Крючков мог бы предложить свой вариант ответа: хозяин — товарищ Сталин. Вряд ли бы умный Иосиф Виссарионович клюнул на эту грубую лезть, хотя он был и в самом деле хозяином, и Горький не кривил, когда публично называл его так. Но понимал ли Сталин, что подлинным хозяином он станет только тогда, когда каждый в его стране в своем деле и на своем месте будет хозяином? Этот вопрос стоил того, чтобы подхватить предложенную Сталиным игру в «хозяина».

Горький не взялся бы предсказать реакцию Сталина на поставленный вопрос, но он твердо знал, что российские и советские литераторы в большинстве своем решали проблему хозяина на примитивном, допотопном уровне, в том духе, в каком она трактуется в его старой пьесе «Враги»: хозяин, добрый или злой, хороший или плохой, все равно — хозяин, то есть кровопийца. Сами того не создавая, они воспитывали в своих читателях антихозяйские настроения.

Плоско, примитивно это представление о хозяине, но оно живо. Горький невесело усмехнулся, вспомнив, как он очень давно здесь, на Никитской, оказался старым его знакомым — казанский булочник Семенов. Он хотел поведаться со своим бывшим подручным. Но Горький отказал во встрече, не захотел побеседовать со стариком хотя бы из любопытства.

С домом у либеральных российских литераторов ассоциировалось не только представление о домовладельце, хозяине, но и о быте. Быта боялись. От него спасались, преимущественно — бегством. Но голым не победишь. И какая в конце концов разница, если одни, как Горький, тащили за собою домочадцев, приживальщиков, слуг, книги, коллекции, а другие — грязную наволочку, набитую рукописями (Хлебников). Случалось, столкновение с бытом разрешалось трагически, самоубийством (Есенин, Маяковский).